

ИВАН
БУНИН

Темные аллеи

ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ



АЗБУКА-КЛАССИКА

Иван Алексеевич Бунин

Второй кофейник
(Бунин И.А. Сборники)

Некий художник в своей мастерской на Знаменке пишет очередную «Купальщицу». Во время перерыва в работе он, ожидая пока закипит кофейник, слушает рассказы натурщицы о её непростой жизни.

Второй кофейник

Она и натурщица его, и любовница, и хозяйка — живет с ним в его мастерской на Знаменке: желтоволосая, невысокая, но ладная, еще совсем молодая, миловидная, ласковая. Теперь он пишет ее по утрам «Купальщицей»: она, на маленьком помосте, как будто возле речки в лесу, не решаясь войти в воду, откуда должны глядеть глазастые лягушки, стоит вся голая, простонародно развитая телом, прикрывая рукой золотистые волосы внизу. Поработав с час, он отклоняется от мольберта, смотрит на полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:

— Ну, станция. Подогревай второй кофейник.

Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто кофею, а она беззаботно запекает на всю мастерскую звонким голосом:

Начинала ту-учка, ту-учка золота-ая...

На груди-и утеса велика-ана...

И, повернув голову, радостно говорит:

— Это мне художник Ярцев выучил. Вы его знавали?

— Знал немного. Долговязый такой?

— Он самый.

— Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь, кажется, помер?

— Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним год жила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего на втором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру с кистями и сбил мне с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да куда тебе! Глаза бешеные, веселые... Как ножом зарезал.

— Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его?

— Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной, выпимши, не приведи Господи. Я молчу, а он: «Катька, молчать!»

— Хорош!

— Пьяный. Кричит на всю студию: «Катька, молчать!» А я и так молчу. Потом как за-

льется, зальется: «Начивала тучка...» И сейчас же подхватит на иные слова: «Начивала сучка, сучка молодая» — это я-то, значит. Со смеху помрешь! И опять — трах ногой в пол: «Катька, молчать!»

— Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядя привез в Москву?

— Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, а он мне и привез. Это уж к моему другому дяде в его извозничий трактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетя вздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас. Приехали раз под утро из «Стрельни» опохмеляться Шалапин с Коровиным, увидали, как я тащила на стойку с Родькой-половым кипящий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: «С добрым утром, Катенька! Хотим, чтоб бссприменно ты, а не этот сукин сын половой подавал нам!» Ведь как угадали, что меня Катей зовут! Дядя уж проснулся, вышел, зеваает, насупился — она, говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. А Шалапин как рявкнет: «В Сибири сгною, в кандалы закую — слушай мой приказ!» Тут дядя сразу ис-

пужался, я тоже насмерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит: «Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу, это самый знаменитый люди во всей Москве». Я и пошла, а Коровин оглядел мне всю, дал десять рублей и велел к нему завтра притить, писать мне вздумал, дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Голоушеву, он был страшный приятель со всеми художниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. Ну, он и пустил мне по рукам, не велел ворочаться в трактир, я так и осталась в одном платишке.

— То есть как это пустил по рукам?

— А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, в желтом платочке, и все художникам, Кувшинниковой, сестре Чехова, — она, по правде сказать, совсем никуда была в нашем деле, дилитанка, — потом попала аж к самому Малявину: он мне посадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой над головой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышли отлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами, совсем

противно вывернул их под задом...

— Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.

— Ой, батюшки, заговорила! Даю, даю...

30 апреля 1944